

**Виктор Михайлович Чернов**

**Записки социалиста-  
революционера (Книга 1)**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94  
ББК 63.3-8  
В43

В43 **Виктор Михайлович Чернов**  
Записки социалиста-революционера (Книга 1) / Виктор Михайлович Чернов –  
М.: Книга по Требованию, 2012. – 166 с.

**ISBN 978-5-4241-1565-3**

"Хотя путь Русской Революции еще не завершен, но уже настало время положить начало великому труду сортирования материалов для будущей истории великого переворота. Мы, современники событий грандиозных, обязаны, не медля, создать, собрать и сохранить документы, рисующие ход исторического движения, работу личностей, и приготовить все материалы для здания, которое возведет будущий историк. Среди этих материалов одно из первых по важности мест должны занять записки, дневники, воспоминания тех людей, которые творили эти события, или- тех, которые наблюдали их..."

**ISBN 978-5-4241-1565-3**

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2012

Чернов Виктор Михайлович  
Записки социалиста-  
революционера (Книга 1)



ВИКТОР ЧЕРНОВ

ЗАПИСКИ СОЦИАЛИСТА - РЕВОЛЮЦИОНЕРА

КНИГА ПЕРВАЯ

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА.

Хотя путь Русской Революции еще не завершен, но уже настало время положить начало великому труду сориентации материалов для будущей истории великого переворота. Мы, современники событий грандиозных, обязаны, не медля, создать, собрать и сохранить документы, рисующие ход исторического движения, работу личностей, и приготовить все материалы для здания, которое возведет будущий историк. Среди этих материалов одно из первых по важности мест должны занять записки, дневники, воспоминания тех людей, которые творили эти события, или- тех, которые наблюдали их. Записки видных участников событий будут цепны для построения политической истории переворота, записки честных свидетелей, вдумчиво наблюдавших ход революции, будут незаменимы подспорьем в работах по истории бытовой. Но особенно важна историческая ценность современных записей в том отношении, что они являются единственным источником выяснения жизнеощущения и быта революционной эпохи. Желая посильно содействовать труду сориентации материалов, мы ставим задачей в нашей серии собрать именно эти современные дневники, записки, мемуары деятелей и современников революции. Преследуя исторические задачи прежде всего, мы намерены дать в нашей серии место авторам различных политических взглядов - от крайних левых до правых включительно. Только такое полное сочетание материалов даст возможность охватить все жизненное богатство великого исторического переворота.

{8}

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ.

Бывает два рода поколений. Одни - вступают в жизнь, раскрывают глаза на все, что творится вокруг, в светлые эпохи, так сказать, мировых торжеств, праздников истории. Ф. Тютчев однажды написал:

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые;  
Его позвали всеблагие,  
Как соучастника на пир.  
Он их высоких зрелиц зритель ...

Тем более блажен тот, чья духовная жизнь начинается под аккомпанемент торжественного походного марша истории. Волна исторического подъема сама захватывает мысль и сознание этих родных детей, любимцев судьбы, и поднимает на те высоты, на которых человеческий дух обеспечен от мелочного вырождения, от гибели в вязкой трясине повседневности. Других - пасынков своих - судьба бросает на свет в серые будни, в тяжкие моменты попятного движения истории, когда если и идет работа подготовления лучшего будущего, то черновая работа, лишенная внешнего драматизма и ярких красок. Широкая столбовая дорога мирового прогресса как-то обрывается и пропадает; вместо нее видна только сеть извилистых и узких тропинок, в которых так легко заблудиться. Скучные сыпучие пески, которыми тяжело бредут скучные, хмурые люди. Нет больше героев и крупных актеров предшествующей мировой трагедии они разметаны в разные стороны злыми вихревыми движениями черного смерча реак-

ции, если не вовсе сметены с лица земли и не вычеркнуты из числа живущих. Молва об их подвигах живет разве в виде "казарменной сказки", в которой действительное мешается с мифическим, - это еще звучит слабое повторное эхо недавних громов. Еще далеко до нового подъема мировых стихий; разве слабые и немощные зарницы предгрозы на момент пурпурным отблеском кровавят края исторического горизонта, да тяжко дышится в сгущенной атмосфере, в которой медленно, но верно скапливается электричество...

О, я знаю, конечно, что и мировые празднества и торжества не только балуют и лелеют своих первенцев. Это совсем особые, грозные пиршества стихий, о которых вешают бравурные баллады, как "всю ночь пировали земля с небесами", "гостей угощали багровые тучи" и "столетние дубы с похмелья валились". Слишком огромные события могут всею свою тяжестью навалиться и подавить воображение, притупить восприимчивость, оглушить до того, что новое поколение вступает в жизнь под знаком неодолимой потребности отдохнуть, отдохнуться. Я знаю, что от этого надрыва, от этой внутренней червоточины избавлены те, кто в пору предрассветных сумерек или в глухие ночи реакции не дали захватить себя мертвенному сну, угашению духа. Счастливо пережившие "с младых ногтей" подобные испытания навсегда сохранят упрямую, неугасимую жажду яркой жизни. Ведь влияния первой {9} юности, когда "новы все впечатления бытия", когда душа чутка, словно эолова арфа, самые сильные, врезающиеся глубже всех...

И, конечно, антитеза мировых-торжеств и похмелей после пира - не исчерпывает всех ситуаций. Рядом с ней можно поставить и другую антитезу. Бывают эпохи, напоминающие безоблачные дни, когда недавно промчавшаяся буря очистила, освежила атмосферу, когда природа блещет нежащим покоем. Счастливы, на первый взгляд, люди, вступившие в жизнь под знаком такой светлой удовлетворенности в идеально нормальных условиях для первоначального развития! Ведь детство и юность так хрупки... Но не надо забывать, что в истории "даром ничто не дается", и мстительная, завистливая судьба "жертв искупительных просит". Поколения, взращенные такими безоблачными временами, нередко вырастают черезсур размягченными и изнеженными, словно тепличные растения; момент пересадки в самый "грунт жизни" для них бывает критическим моментом, когда случайно подвернувшаяся непогода может навеки искалечить чуть не целое поколение, поразив его дряблой анемичностью и осудив не на жизнь, а на вялое прозябанье. И бывают другие эпохи, - близкие кануны мировых драм, когда их предчувствием полна вся атмосфера. Нет еще ослепительного фейерверка событий, еще довольно времени для того, чтобы подготовиться к встрече грозы. Но уже волна неслышного, внутреннего подъема народной и общественной энергии властно захватывает своим течением всех и вся; это - эпохи, когда поветрием революции стягиваются в сферу ее магнитного притяжения самые разнообразные элементы; когда, по старому народному {10} присловью, "резвенький сам набежит, а на тихонького Бог нанесет". "Рекрутский набор" революции в такие эпохи идет всего успешнее. За то, быть может, количеству не так соответствует качество. Там, где на стороне нового движения стоит и могучая в человечестве стихия стадности, и поверхностная мода, и даже заглядывающий в даль авантюристский карьеризм, там стан "чающих движения воды" получается слишком пестрый. Будущие перемены и превратности судьбы произведут в

нем свой "отбор". Это - не то, что в глухие эпохи безвременья. Тут "экзамен" дан с самого начала, спайка прочнее, отбору почти нечего делать. Все "предопределеннное" внутренними и внешними соотношениями читается ясно, как в раскрытой книге...

Таковы результаты моих "ума холодных наблюдений и сердца горестных замет" за все времена жизни, когда перед моими глазами сменился целый ряд вновь входящих "в строй" поколений, и когда приходится думать о том месте, которое занимает мое собственное поколение в пестром людском калейдоскопе, продолжающим развертывать свою бесконечную нить. Но не в горестный цвет окрашивается для меня это грандиозное целое - вмещающийся в узкие рамки личного бытия отрывок целого, еще более грандиозного. Радостное, горестное - здесь только подъемы и ниспадения отдельных волн на поверхности, изборожденной лабиринтом перекрецивающихся могучих океанических течений. И эти подъемы и ниспадения предстают - или, по крайней мере, ощущаются мною не как мутящая "мертвая зыбь", а как перемежающееся кризисами мощное развитие неугомонной стихии "живой жизни"...

КНИГА ПЕРВАЯ  
В ГОДЫ БЕЗВРЕМЕНЬЯ  
(1889-1899)  
{13}  
I.

Сознательной жизнью я начал жить в конце восьмидесятых годов. Это было необыкновенно тусклое время. Кругом себя мы не видели никаких ярких фактов политической борьбы. Общество в революционном смысле было совершенно обескровлено. Оно было - словно тот "вырубленный лес", про который говорил поэт

Где были - дубы до небес,  
Теперь - лишь пни стоят...

Жила только легенда о "социалистах" и "нигилистах", ходивших бунтовать "народ" и показывавших наглядно пример, как бороться со всеми властями и законами, божескими и человеческими - кинжалом, бомбами и револьверами. Романтический туман окутывал этих загадочных и дерзких людей. О них кругом вспоминали с обывательским осуждением, но вместе - с каким-то невольным почтением. И это действовало на молодую фантазию... Миф о "нигилистах" был жутко-притягивающим, - как миф о восставшем против Саваофа гордом ангеле, как о строителях Вавилонской башни... как о разбившемся на смерть Икаре.

Лично мне, росшему без матери, под ежедневным и ежечасным гнетом классической "мачехи" и {14} убегавшему от ее нудных преследований на кухню, в "людскую", на берег Волги, в общество уличных ребятишек, - было так естественно впитывать в себя, как губка впитывает воду, любовь к народу, которому дышала поэзия Некрасова. Я знал его почти всего наизусть. Помню, какую боль причинила мне, четырнадцатилетнему мальчику, книжка какого-то реакционного журнала со статьей на тему "Разоблаченный Некрасов".

Ее мне подсунул знакомый моего квартирного хозяина, надзирателя реального училища Гиршфельда, подсмеивавшийся над моим обожанием некрасовской музы "мести и печали". Я был положительно несчастен. Вся душа моя перевернулась от одной мысли о возможности того, чтобы Некрасов, мой Некрасов,

трагавший меня до слез, был картежником, чуть ли не шулером, владел крепостными, подхалимничал перед властью имущими ... Я разрешил для себя эту коллизию тем, что счел все эти рассказы черной клеветой. Я сам рос постоянно "унижаемым и оскорбляемым", и меня так естественно тянуло ко всем "унизенным и оскорбленным". Это был мой мир, и я вместе с ним противопоставлял себя "царящей неправде". Некрасов расширил для меня этот мир. Благодаря ему он разросся из людской и кружка уличных товарищей по ребяческим скитаньям и бродяжеству - на весь мир народный, мужицкий, трудовой.

Как сейчас помню - в г. Саратове, где учился я в гимназии, стали ходить темные слухи о готовящихся уличных беспорядках, о погроме кабаков и богатых домов - чуть ли не по поводу каких-то празднеств, во время которых уличная чернь ждала иллюминации и дарового угощения и, не получив последнего, считала себя обманутой. Наш настороженный слух подхватил {15} эти смутные опасения обывателя. "Вот оно, начинается" - промелькнуло у нас в голове. Что начинается?

Конечно, что-то вроде пугачевщины или разиновщины. И мы, впитавшие в себя ненависть к начальству в душной, удавной атмосфере "классической гимназии" реакционного времени, пошли "искать" ... Мы - т.е. я с товарищем-одноклассником - ждали, что "начнется", конечно, темной ночью; наша фантазия рисовала нам где-то, на базарах, в трактирах или чайных, сговоры и перешептывания "вожаков" из этой "черниди", которые таинственно столковываются о захвате города и об истреблении начальства, о кучках "народа", которые начинают собираться, "роптать" и ободрять друг друга для решительных действий. И, по-тихоньку выскользнув из дома, мы отправились бродить по городу, заходить в харчевни, теряться около постоянных дворов, чтобы "присоединиться" к взрыву народного негодования. Чуть не всю ночь проходили мы и, ничего не найдя, в отчаянии обвинили во всем свое неумение. Почти под самое утро мы вернулись, разочарованные и охлажденные. Нигде не оказалось ни романтического Лермонтовского горбuna Вадима, ни Дубровского, ни Кармелюка. В харчевнях пили водку и пиво и вели пьяные беседы о чем угодно, кроме народной революции...

"Народ" был в это время нашей религией. Народ-гигант, сиднем-сидящий десятки лет на подобие Ильи Муромца, чтобы вдруг "разогнуть могучую спину" и сряхнуть с себя, как Гулливер лиллипутов, всю облепившую его нечисть. К этому культу переход совершился как-то вдруг. Жажда культа жила в душе всегда. Я был одно время, полурубенком, страстно-религиозен; убегая от людей, уединяясь в пустую, {16} темную комнату, простирался на земле перед образами и молился жарко, обливаясь тихими слезами умиления или жгучими слезами тоски.

Первым умственным моим увлечением было патриотическое. Девятилетним ребенком, под влиянием прочитанной книги о русско-турецкой войне, я сочинял стихи на взятие Плевны. Одиннадцати-двенадцати лет я упивался чтением истории всевозможных войн, которые вела Россия. Берлинский трактат был для меня неизгладимым личным оскорблением. Я удивлял соквартирантов, гимназистов и реалистов старших классов, страстными доказательствами, что Россия во что бы то ни стало должна была тогда овладеть Дарданеллами, там заградить дорогу английскому флоту и, хотя бы вопреки всей Европе, закончить взятием средоточия мировых путей, Царя-града, дело возврата Балкан настоящему их владельцу

- славянству. Мне было забавно вспомнить об этом, когда после февральской революции я начал газетную кампанию против Милюкова-Дарданельского, безнадежно застрявшего на этом давно мною пережитом фазисе. Вся эта напряженная религиозно-патриотическая полоса моего полудетского умонастроения - моего собственного "Дарданельского периода" - держалась долго - зато рухнула сразу, сменившись столь же напряженной и страстной "враждой к богам земли и неба". Больше всего "минировал" эти мои "позиции" Некрасов. Уже тогда - и навсегда, на всю жизнь - врезались в мою душу его проникновенные стихи:

Новый год... Газетное витийство И война - проклятая война! Впечатленья крови и убийства - Вы в конец измучили меня...

{17} Никакая цена не казалась слишком дорогой, чтобы купить пору, "когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся". Если для этого нужна будет все же "цена крови" - пусть: это будет последняя искупительная жертва. Пусть изнасилованное властными честолюбцами человечество, как библейская Юдифь, отсечет голову кровавому Олоферну...

Так фантазировала, под влиянием всего духа нашей гуманитарной поэзии, моя полудетская восторженность. На подготовленную почву, как искра в порох, упал - нелегальный сборник революционных стихов, врученный мне одною знакомой моего старшего брата, увидевшей, что я ужасно люблю стихи и, увлекаясь, недурно их читаю. "Сборник" дал колоссальный толчок моему собственному "стихотворчеству". Целыми вечерами, которые мои квартирохозяева обычно проводили вне дома, я лихорадочно исписывал листок за листком. Тут была и лирика, и целые поэмы - о Стеньке Разине, о Робеспье, о Марате.

Финал был плачевен: хозяин-надзиратель как-то в мое отсутствие пошарил, по своей надзирательской привычке, в моих ящиках... и открыл целый пук самых зажигательных излияний в стихах. Первоначально он пришел в ужас и прежде всего поспешил сжечь, как страшную заразу, все это; вызвал телеграммой отца; со мной имел глаз на глаз разговор, из которого помню, с каким неподдельным ужасом он говорил: "усвоить такие взгляды - да после этого только и остается, что с топором за поясом и с ножом за голенищем выйти на большую дорогу и резать всех бар и богатых!" Потом испуг его поутих, и он догадался сделать из этого инцидента повод для того, чтобы в течение некоторого времени довольно успешно шантажировать {18} моего отца. Иных последствий для меня это не имело, - да и можно ли было всерьез взяться за тринадцатилетнего ученика четвертого класса гимназии?

И я продолжал себе жить уединенной умственной жизнью, жадно и беспорядочно поглощая все книги, какие только попадутся под руку, упиваясь, например, "Письмами из деревни" Энгельгардта наравне с "Вечным Жидом", статьями Шелгунова наряду с "Характером" добродушного буржуа Смайльса, газетными телеграммами о сменах министерства во Франции наравне с разрозненными номерами журнала "Дело", открытыми мною на чердаке, в каких-то заброшенных ящиках. С увлечением делился я почерпнутыми сведениями со сверстниками; с четвертого класса принялся издавать рукописный гимназический журнал, почти целиком весь его наполняя собственными произведениями в стихах и прозе и рассуждениями во всех областях человеческого ведения и неведения. Затем, как некий Колумб, я "открыл" Добролюбова, за ним Бокля, потом - Михайловского...

Голова горела от потока нахлынувших мыслей. Я конспектировал, рефериоровал, наполнял тетради выписками. Тогдашнее психологическое состояние вспоминается мне чрезвычайно живо: самым ярким его моментом было - я бы сказал - чувство, ощущение разума. Большой, прикованный долго к креслу, испытывает почти болезненное наслаждение, когда в первый раз может встать и идти, перебирая ногами: каждое движение воспринимается им остро и живо, он упивается процессом ходьбы. То же ощущение, но еще свежее, девственнее, непосредственнее должно быть у начинающего ходить ребенка: он делает первые шаги, и радостно, возбужденно смеется: ведь он открыл {19} целый новый мир переживаний! Так и мы, открыв в себе новый орган - разум, мысль, и впервые пробуя его, упивались самым процессом его работы, - мы точно с наслаждением плавали на ритмичных волнах логического движения. И как ребенок, не умеющий оценить меру своих сил, наивно думает, что может пройти "хоть сто верст", так и мы смело ставили себе какие угодно проблемы, уверенные, что надо только "уметь мыслить", чтобы сильным напряжением выкрутить их решение из-под своей черепной коробки. На одну чашку весов мы готовы были бросить всю вселенную и с ней Гордиевы узлы мировых загадок, а на другую - "собственный кусочек мозга", с полной верой, что этот последний может и должен перевесить... Мы сразу сделались ревностными и беспощадными рационалистами; всякое чувство и влечение, всякая симпатия и антипатия, всякая оценка и мнение у нас разлагались на безукоризненные цепи силлогизмов, исходящих из бесспорных предпосылок. Разум, мысль в свои сети должны были уловить и всю громаду внешнего мира, и мельчайшие изгибы капризно родившейся эмоции. Мы спешили перетряхнуть все понятия, не щадя ни одного; мы порою бывали даже педантами рационализма, не желая ничего оставить на долю чувственной непосредственности, простого чутья или полуинстинктивной интуиции. Мы хотели всего человека сократить не из живой горячей крови и нервов, а из чистого сгущенного экстракта "логистики". А между тем, на деле, конечно, мы менее всего были беспристрастными логическими машинами; в нас ключом била воля к моции разума, и всякая мысль для нас была волнующим и многокрасочным психическим переживанием, целым, эмоционально окрашенным {20} событием внутреннего мира. Мы мыслили "кровью сердца и соком нервов"...

А потом пошла кружковщина. Первый кружок, в который повел меня, кажется, старший брат, произвел на меня сильное впечатление. Это было в квартире какого-то офицера - фамилию его я забыл, - который поразил мое воображение тем, что все время чтения какой-то статьи из "Недели" (кажется, "Мед и деготь" Гл. Успенского) и споров о ней тачал сапоги. Офицер был толстовец, и тачанье сапог было с его стороны своего рода демонстративным исповеданием веры. Толстовство вообще тогда сильно шумело. В находившемся неподалеку от Саратова земледельческом училище все "ворочавшие мозгами" старшие ученики были захвачены толстовским "поветрием". В Саратове появился метеором и метеором блеснул красноречивый, хотя вряд ли глубокий и искренний, проповедник "непротивления злу насилием" - по фамилии, кажется, Клопский - изображенный затем Карониным в повести "Учитель жизни" (В повести "Учитель жизни" Карониным изображен не

Клопский, а Романов - один из учеников Новоселова.

Клопского Каронин не знал. Прим. ред.).

Саратовские "земледелы" были славные ребята; мы с ними очень сдружились, но спорили до хрипоты целыми ночами. Затем нас повели в другой, тоже очень своеобразный кружок, у некоего Малеева - человека уже сравнительно пожилого, беззаветно преданного естественным наукам и ярого "спенсерианца" - разновидность русского человека, довольно запоздалая. Там читали сообща, вслух, "Что такое прогресс" Михайловского, который должен был служить нашему хозяину в качестве "адвоката дьявола". Помню, в числе других, совращенного им в {21} спенсеризм Р. К. Ульянова, будущего депутата-трудовика, а затем социалиста-революционера. Но холодный, симметричный и абстрактно-схематизирующий Спенсер нас не пленял; напротив, с самого начала нас подкупил в свою пользу возбуждающий, разбрасывающийся, многогранный ум Михайловского.

Он был несравненным будильником нашей собственной мысли, он шевелил и расталкивал ее, как никто; а Спенсер как будто хотел приколотить к нашему уму нечто готовое частыми-частыми гвоздиками. В формулах первого мы улавливали трепетанье живой жизни, а у второго мы не столько ясно и критически сознавали, сколько чутьем угадывали какую-то "бледную немочь понятий", уклон к отвлеченному худосочию всеабстрактнейших формул, скользящих по внешним и поверхностным чертам явлений и жертвуяших в них ради безбрежной широты охвата - всех тем, в чем состоит их существеннейшее содержание. Наконец, вопросы обществознания у Михайловского тесно связывались с вопросами совести. А эти вопросы обострились для нас необыкновенно, - как потому, что распались религиозные скрепы сознания и потребовалось найти какой-то другой фундамент для наших нравственных воле-устремлений - так и потому, что надо было свести счеты с наступавшей на нас моральной проповедью Льва Толстого.

Теперь трудно себе представить, насколько в те времена был силен напор толстовских идей. В толстовстве была своеобразная внутренняя сила. Если хочешь бороться со злом, не пробуй побеждать его злом же; этим-то именно оно и растет, как катящийся снежный ком, заражая самое добро. Не принимай ни прямого, ни косвенного участия ни в {22} какой лжи, ни в каком насилии. Сохрани чистоту своей души и своих рук. Мужественно, мученически выноси все насилия, истязания, издевательства, ни на минуту не отказываясь от исповедания той правды, за которую тебя, конечно, подвергнут гонениям, но ни на минуту не поддаваясь соблазну избавиться от последствий такого исповедания - ни силой, ни хитростью. О, здесь была своя великая притягательность для юношеского сердца, жаждавшего самоотречения и жертвы!

Не жалеть себя... Это было так понятно! Но можно ли так же стойчески преодолеть жалость к другим? Муций Сцевола, держа руку на огне, ровным голосом отвечал врагу своей родины, что таких, как он, поклявшихся убить поработителя, целая сотня - и напуганный завоеватель ушел туда, откуда пришел. Муций Сцевола солгал - герой он или лгун? Вильгельм Телль твердой рукой пустил свою стрелу в Гесслера - может ли он быть развенчан, как гнусный убийца из-за угла? В стихотворении "К позорной казни присужденный, лежит в цепях венгерский граф" - мать, боясь, чтобы ее сын не уронил себя малодушной слабостью в момент казни, выходит на балкон в белом покрывале условный знак,

что ей удалось вымолить ему прощение - и обнадеженный сын твердою стопой входит на эшафот, с улыбкой кладя голову на плаху. Имела ли право так поступить мать? Или, еще более простой пример: имеет ли право доктор, в интересахлеченья, поддерживать в больном бодрость, обманывая его относительно действительного состояния его здоровья? Можно ли обмануть и пустить по ложному следу шпиона, выслеживающего жертву?

У {23} Некрасова раскаявшийся разбойник, превратившись в схимника, получает прощение, убив наглого и развратного пана: он знает, что этим губит свою душу, но готов пожертвовать и спасением души своей, лишь бы избавить от мучителя несколько новых невинных жертв. Прав ли поэт, видя в этом пожертвовании собственной чистотой - высший подвиг? В Тургеневском стихотворении в прозе "Порог" его "русская девушка", в виде последнего искуса, должна ответить на вопрос "готова ли ты на преступление" - роковыми словами "и на преступление готова". И "за порог" ее провожают чьих-то два восклицания: для одних она - злодейка или дура, для других - "святая". К чьему голосу присоединим мы свой?

Таковы были вопросы, о которых мы спорили страстно, горячо, до самозабвения. В споре оттачивались аргументы, определялись позиции. "Нет подвига больше того, как "душу свою положить за други своя". Вот к чему приходили мы. Именно "д у ш у". Это не то же самое, что пожертвовать головою. Нет, должна быть еще большая, высшая ступень отречения. Самую свою душевную белоснежность надо отдать, как искупительную жертву. Во что бы то ни стало беречь собственную чистоту от прикосновения к неразлучному с жизнью "греху" есть тончайший эгоизм, последнее убежище себялюбия. Оно годится для нравственных аристократов, белоручек. При нем нравственность словно искусственное, электрическое солнце, которое "светит, да не греет". *Summum jus - summa iniuria*. Абсолютная нравственность противонравственна...

Но наши юные "друговраги" - толстовцы здесь сами переходили в наступление и брали реванш. Если {24} встать на эту дорогу - где остановиться? Тогда, стадо быть, "все позволено"? Тогда, почему же отвергать иезуитизм с его лозунгом: "цель оправдывает средства"? Тогда всякий, руководясь своим пониманием "блага ближнего", может сколько угодно его обманывать и насиливать? Тогда каждый из нас в праве убить всякого человека, чье влияние на других людей он сочтет вредным? Тогда зачем негодовать на Торквемаду, сжигавшего на костре еретиков? Тогда почему негодовать на правительство, не допускающее свободы печати? Тогда, может быть, и социалисты, добравшись до власти, начнут затыкать рот инакомыслящим, сажать в тюрьмы, а то и расстреливать "за вредную агитацию"? Тогда вся разница только в родах и сортах деспотизма?

В этих спорах наша совесть подвергалась великому искущению и великому испытанию. Немалой трепки нервов стоили нам поиски пути между Сциллой и Харибдой - Сциллой абсолютного морального максимализма, толстовской теорией пассивного нравственного подвигничества - и Харибдой столь же абсолютного аморализма, с его авантюристским "все позволено". Не сразу определился этот путь; скорее, наоборот, он выяснялся отрывочными кусками, отдельными просветами среди полуутмы, в которой мы бродили ощупью, без руководства. Свести концы с концами, объединить в одно стройное, логически законченное целое свои ответы на эти, столь сложные и запутанные, поистине проклятые